

Б.Г. СОКОЛОВ

*Доктор философских наук, профессор
Заведующий кафедрой Культурологии, философии культуры и эстетики
Санкт-Петербургский Государственный Университет*

СЛЕНГ МЫСЛИ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО АП/UP

Проблематика языкового выражения и связи его с мыслью выступает основной темой данного текста. По мнению автора, язык не приспособлен к адекватному выражению ни глубинных прозрений, ни того, что связано со сферой личности. Анализ способов выражения мысли в этих сферах показывает, что модель сленга выступает матрицей для языкового узуса. В процессе своего функционирования язык нуждается в постоянном обращении к тому, что фиксируется в кантовской системе как трансцендентальное единство апперцепции. В свою очередь трансцендентальное единство апперцепции или сверхопытное единство самосознания опирается на сферу личностного, индивидуального, т.е. на фигуру Я, которая не является стабильной, но постоянно изменяющимся и мутирующим образованием.

Ключевые слова: Сознание, мысль, Я, конституирование Я и реальности.

B.G.SOKOLOV

*Doctor of Science (Philosophy), Professor
Head of the Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture and Aesthetics
Saint-Petersburg State University*

THE SLANG OF THOUGHT AND THE TRANSCENDENTAL UNITY OF AP/UP

The problems of language expression and its connection with the idea is the main theme of this text. According to the author, language is not adapted to an adequate expression of any deep insight or anything related to the scope of the individuality. The analysis of ways of expression in these areas shows that the model of slang acts as a matrix for language usage. The process of functioning of language requires constant appeal to what is recorded in the system of Kant as the transcendental unity of apperception. In turn, the transcendental unity of apperception or the beyond experience unity of consciousness draws on the field of personal, individual, i.e., on figure I, which is not stable but constantly changing and mutating structure.

Keywords: Consciousness, thought, I, Constitution of Self and reality.

Две вводные ремарки.

Проговоренное название нашей встречи во второй части содержит для философского уха, конечно, некий разрыв, недоговоренность: так и хочется до-

полнить-добавить-завершить «трансцендентальное единство ап» «трансцендентальным единством апперцепцией». И тогда вроде встанет все на свои места и мы окажемся в привычный колее движения философского размышления. «Трансцендентальное единство апперцепции» и... далее по тексту... Кант ... в общем все вернется тогда на «круги своя» философского кругового движения, в котором – и, наверное, по праву – кантовская мысль, кантовские выражения занимают «достопочтимое», как бы возможно выразился М. Хайдеггер, место. Конечно, можно воспринимать «ап» как разрыв, или обрезку «апперцепции» и построить «постмодернистский» или даже «постпостмодернистский» сценарий дальнейшего движения рассуждения, обыгрывающий проблемы ампутации, кастрации (столько уже о ней сказано, что кажется уже не осталось того, что не было бы кастрировано). Можно... и сценарий вполне приемлемый и, скорее всего, провокационно привлекательный. Но мы пойдем, как говаривал Ильич, другим путем... Хотя – опять же конечно – сценарий движения не минует тех «пассов постмодерна», которые иных отпугивают, а иных привлекают особым шармом интриги.

Так вот... Вполне в духе Деррида, кстати... На слух не различишь «трансцендентальное единство ап» и «трансцендентальное единство up», т.е. тогда, когда последнее словечко «ап» написано «по-басурмански», «по-аглицки». Я пойду тем путем, который в моем сознании ассоциативно выстраивается английским словом «up». Не знаю, как пойдет Игорь Юрьевич, может быть, он выберет отечественный, «славянофильский маршрут следования». Но это, как говорится, дело вкуса, о котором, вроде как не спорят.

Это первая вводная ремарка.

Вторая ремарка.

Тот маршрут рассуждения, который я подготовил и сейчас постараюсь воспроизвести, меня как-то внутренне настораживает. Настораживает тем, что все как-то очень гладенько получается и складывается. Именно это настораживает. Возможно, конечно, это происходит по причине инкорпорированности в мое сознание профессионализма или – другой вариант – постмодернистской выучки. Обе позиции, которые с недоверием относятся к «гладкости», «логичности», «выверенности» и т.п. отражают, конечно, прежде всего «постмодернистский» или профессиональный «драйв», которому я отдаю при размышлении, хочу я этого или не хочу. Но есть и другое, о чем я, наверное, должен сказать в этой ремарке, а потом – извините за длительные вводные словеса – обратиться к основной канве моего размышления. Слаженность, логичность и выверенность – в них есть что-то мертвое. Неумолимость логичности не только угнетает, она как-то мертвовата по своей сути. Наверное, потому она мне и не нравится: в ней проступает что-то бесчеловечное, будь это Рок-Фатум или машинерия математизированной

науки. А потому, то, что получается как-то очень логично, по крайней мере, на уровне подготовки к выступлению, не очень радует. Но, конечно, есть шанс в дискуссии или – бывает и такое – по ходу моего выступления внести элемент непредсказуемости, нерешенности или непонятности.

Все же обратимся к тому, что явилось темой нашей встречи. Как почти всегда на наших семинарах мы соединяем две темы, которые кажутся на первый взгляд не очень близкими, если вообще не «параллельными» друг другу. Обратимся пока к первой теме, а именно к сленгу мысли.

Проблема выражения – основная проблема, пожалуй, для философа в языке. Язык вообще проблема важная для философии особенно в XX веке. Язык не просто говорит, он – оказывается довольно интересной и интригующей проблемой, способной раскрыть горизонт существенного «С одной стороны – говорит классик, а именно таковым «здесь и теперь» я номинирую Игоря Юрьевича – в языке высказывается обращенность человека к миру и сам его жизненный мир, с другой стороны, язык есть один из видов такого обращения» [2; С.92]. Язык, речь, слово – существенное для философского горизонта современности, да и не только для нее. А потому постоянная обращенность к слову, вполне оправдано с нашей, профессионально-философской точки зрения.

Как он, язык, умудряется – если, конечно, умудряется – выразить-передать смысл не очень понятно. Нет, «формально» все понятно. Вот смысл – а вот выражение этого смысла. Вот денотат, а вот означаемое, а рядышком – означающее, которое как раз и выражает. Но не зря столько книг написано об этих проблемах: не все так простенько и гладенько как это может показаться в схемах Соссюра, Рассела или Барта или... да сколько их – имя легион...

Итак, проблема выражения. Наиболее остро она стоит в некоторых сферах – как бы сейчас выразились – коммуникации. Сообщить что-то и рассчитывать на адекватность выраженного особенно трудно в двух, по крайней мере, случаях. Первый случай, когда мы пытаемся донести до собеседника или «воображаемого» собеседника что-то очень личностное, экзистенциально значимое лично для того, кто говорит, т.е. с помощью языка трудно выразить то, что предельно личное, лично интимное. Каким образом с помощью обычных слов и выражений выразить то, что «наболело», что сингулярно, а потому с трудом выражаемо? Второй случай, это когда мы с помощью языка пытаемся передать, описать те глубинные мысли, озарения, интуиции, которые относятся, например, к онтике как базовой сфере, в которой происходит «архетипическое» выстраивание реальности.

Таким образом, язык не очень проясняет нам ни интимное, ни онтическое, он с трудом и разве что аллегорически и поэтически – причем без какой-либо гарантии на успешный результат, т.е. без надежды на адекват-

ное восприятие и понимание – иносказательно проговаривает что-то интимное и сущностное.

Наверное, было бы чересчур опрометчиво требовать адекватности, ясности и отчетливости «работы» языка в этих сферах. Узус языка – это обыденность по преимуществу, он прекрасно и без существенных нареканий справляется со своей задачей, когда нужно «обслужить» производственную коммуникацию или бесконечные вариации на тему повседневности, которые занимают львиную долю нашей жизни и нашей заботы. В отношении того, что язык не очень приспособлен «работать» с сущностным, глубинным, онтическим и т.п. все, кажется, понятно: редко, очень редко мы мыслим о существенном, а погружены в хлопоты нашей обыденности. Да и сам разговор и мысль о существенном казались и кажутся всегда чем-то чрезвычайно излишним и вредным, тем, что подчас мешает оперативному манипулированию и действию. Совсем не обязательно выстраивать онтологию или решать проблему свободы и выбора, чтобы забить в стене гвоздь. Причем, может быть, разговор о существенном может даже повредить результативности или вообще поставить ее под вопрос. Оно, это, кому-нибудь нужно? Разговоры о существенном – дело редкое, да и в т.н. примитивных сообщениях они резервировались для стариков, от которых проку в практической сфере уже было маловато. С этим – т.е. с разговором и передачей существенного, глубинного – все ясно: оно редко и потому язык в принципе не был нацелен на то, чтобы «обслуживать» эту сферу нашей жизни. Что бы не мыслили себе и о себе философы, дело это крайне редкое и не всегда поощряемое из горизонта нашей повседневности.

Но вот в отношении нашего интимного, личностного, кажется, все должно быть иначе. Мы всегда и повсюду озабочены собственным, собой, своей жизнью, своими ощущениями, переживаниями. Мы постоянно хотим сказать о себе и – что немаловажно – понять что-то в себе, зафиксировав мысль о себе с помощью языка. Ан нет! Не очень это получается. Не дает нам язык простого доступа к этой самой важнейшей части нашего мира, к нашему я, к тому центру, из которого и выстраивается горизонт и течение нашей жизни. Почему и «за что» так происходит?

Вопрос риторический. Я не думаю, что на него отвечу «здесь и теперь». Но хотя бы я зафиксирую это странное положение дел: язык, которым говорим мы, не очень позволяет передать все нюансы, оттенки нашего положения, ощущения, чувствования, а иногда просто оказывается в той известной русскому человеку фразы из стихотворения Ф.Тютчева: «мысль изреченная есть ложь». Вроде как говорим мы, а не говорит некий социальный «общественное», «социальное», «общекультурное», но получается как-то странно: проговаривать то, что «доносится» из социального горизонта оказывается не так сложно, как если бы высказывалось личностно интимное. Речение всегда про-

говаривается индивидом и из его сингулярной во времени, пространстве точки, с того топоса, который «отделен» от социального пространства, но как то с этой самой зоной личности, высказыванием о том, что и как там обстоит, не очень получается.

Так почему не очень получается? Ведь фактически здесь мы оказываемся в той ситуации, о которой было прописано в трактате о новоязе у Оруэлла в его романе-антиутопии «1984». Напомню тот сюжет, который мне показался аналогичным с ситуацией с выражения личностного в языке вообще. Целью создания новояза было постепенное преобразование обычного языка в язык, на котором невозможно выразить любую «крамольную мысль». Это достигалось прежде всего через постепенное «выветривание» тех смыслов. Например, у слова «свободный» можно оставить те значения, которые характеризуют свободное, незанятое место, свободную, не тесную обувь и т.п., но удалить те смыслы, которые связаны со свободой слова, личности и т.п. В результате мы получали следующую ситуацию: любое недовольство, не имея возможности «облечься» в словесную форму оставалось лишь неким неясным, смутным и, конечно, непередаваемым ощущением, которое можно было попытаться выразить лишь с помощью примитивных слов, типа «плохой», «злой» и т.п. Так и в нашем случае, случаем выражения индивидуального, личностного. Обычный язык подобно новоязу оказывается тем «коммуникативным средством», которое не может выразить наше личностное, оставляя это самое личностное в ситуации смутного невербализованного, а потому несхватываемого мыслью и непередаваемого чувства, внутреннего ощущения. Конечно, в отношении обычного языка трудно предположить, что мы имеем дело с рационально выстроенной стратегией воздействия, когда зона индивидуального лишается возможности сказать что-то о себе. Скорее наоборот, все происходит вполне «интуитивно» и «стихийно», но от этого результат – невозможность выразить что-то индивидуальное – не менее удручающий для зоны сингулярности субъекта.

Язык приспособлен для выражения тотального, социального, он постоянно – потому – выстраивает изнутри нас предпочтения социальному пространству. Более того, оно, социальное пространство, постоянно дрессирует нас и нашу мысль, делая из нее лишь орудия своего влияния. В этом смысле подобная ситуация с языком, заточенным на выражение всеобщего и социального скрывает в себе тот генезис нашего сознания, о котором говорят антропологи и историки и который – здесь и теперь – трудно представить: коллективное сознание. Видимо все же был этот этап сознания, когда оно было не индивидуальным, когда «индивид» мыслил «коллективно», с точки зрения как раз этого социального мира. Это коллективное сознание или, хотя бы, некоторые структуры и модели этого сознания, продолжает существовать внутри вроде как уже ориентированного на

индивида современное сознания. И свидетельство этому – импотенция языка в отношении того, кто мыслит сейчас, невозможность выразить зону личностного и субъективного.

Однако современная ситуация, когда мы различными «окольными тропами», иносказательно и т.п. все же пытаемся выразить зону личности, кардинально иная. В этой ситуации те структуры или модели сознания, которые сохранились (возможно, конечно, только возможно) от коллективного типажа сознания, оказываются выполняющими функцию социального цензора. Т.е. генетически контроль и определенная дрессура «с точки зрения» социального пространства выстраивается как пережиток-наследие прежних «моделей» и типов сознания. И, в принципе, это довольно понятно: сознание способно сохранять – и сохраняет до сих пор – те модели мышления и структуры, которые уже вроде как не соответствуют современному «стилю», «типажу» сознания. Т.е. речь идет о продолжающем действие атавизме «внутри» сознания, который вместе с тем оказывается вполне востребованным для внедрения норм и канонов социального мира, причем это происходит не как рационально сконструированный проект, а вполне жизненно и естественным образом.

Итак, язык задает тот формат, который может быть реализован мыслью, т.е. наподобие юнговского архетипа дает ту форму, в которую с необходимостью может быть заключена любая мысль, задавая ей, попутно, определенный стиль, смысл и меру того, что может быть помысленно. Этот «архетип» для мысли и сознания воздействует на то, что может быть высказано, а что оказывается под запретом или редуцируется к «невывразимому» или «выразимому с трудом или иносказательно». Таковой сферой, которая оказывается чисто генетической в зоне «маргинальности» (по причине того, что язык «создавался» в эпоху коллективного сознания, а потому не был нацелен на выражение индивидуального, но коллективного опыта) является зона личного. Язык, таким образом, выполняет функцию цензора определенной мысли, мысли, которая ориентирована на личностное и индивидуальное..

Такова ситуация с языком в отношении лично-приватного. Пока на этом остановимся. Я не буду сейчас разбирать или вдаваться в размышления о том, что такое язык, ибо тогда мы

а. никогда этот разговор не закончим (ибо все, полагаю, осведомлены о том, что этот разговор бесконечный и длится не одно столетие, если не сказать тысячелетие)

б. останемся на уровне «уже сказанного», промысленного.

И вряд ли пойдем дальше. Меня интересует – раз уж случился сюжет о сленге мысли и трансцендентальной апперцепции «ап/ур» - только некоторые сюжеты, связанные с языком.

Теперь, когда я постарался прояснить нечто по моему мнению существенное в данном контексте в отношении языка и тех сложностей, с которыми он (а скорее мы, ему, языку, как-то все равно) сталкивается, когда пытается «работать» в сфере глубинного и личностного, когда ситуация ясна, вернее, когда я зафиксировал основные сложности ситуации, обратимся к проблеме сленга.

Тезис предварительный таков: язык – это всегда сленг мысли.

Вообще, что такое словечко «сленг»? «Сленг» происходит от английского «slang» – набор иногда сочетание особых слов или новых значений уже существующих слов, которые имеют не универсальный, но, как правило, секторальный узус, т.е. используются в ограниченной и иногда профессионально, возрастно или еще каким образом замкнутой сфере и аудитории. Наверное, в каждой сфере профессиональной деятельности существует свой сленг, и, кстати, философская тусовка ничем не отличается в этом смысле от, скажем, фанклубов или тюремного сообщества. Мы также используем особые выражения и уж тем более – особенно после хайдеггеровских экзерсисов с исходными значениями слов – переосмысливаем повседневный узус слов.

Но почему я полагаю, – и это закреплено в том основном тезисе, который я только что озвучил – что язык – это всегда сленг мысли, т.е. набор особых «региональных» слов, обладающих к тому же «региональным» смыслом? Рассмотрим это немного по подробнее.

Прежде всего, язык – это всегда набор особых слов. И хотя лингвисты – и, кстати, правильно делают – выделяют не слово, а законченное высказывание как основную единицу языка, язык все же состоит (пусть чисто «формально») из слов. Эти слова – что вполне естественно – когда-то были «изобретены». Я не буду сейчас – опять же по причине длительности разговора, да и потому, что данная проблема не является моей профессиональной делянкой – рассуждать о генезисе или механизме образования слов. Об этом можно, кстати, прочесть и у Соссюра, и у Кассирера, которые вполне в философском ключе рассуждают об этих материях. Мы просто примем за факт, что любое слово в языке когда-то возникло, а потому любое слово когда то обладало тем новым значением, хотя бы потому, что это значение-смысл «вдруг» обрело свое означающее в виде этого слова. Подобный процесс действует и ныне. Новый феномен, новые обстоятельства и необходимость в них реагировать по-новому и т.п. вызывают к жизни новые слова, а также новые смыслы уже используемых слов. Можно вспомнить генезис слова «компьютер». Для английского языка слово «computer» - не новое слово, но добавление нового смысла-значения в уже существующее слово, обозначающее ранее «счеты», «вычислительная машина». Для русского языка - это заимствование, в котором исходное значение просто вымывается, оставляя

для узуса только тот смысле современного вычислительного аппарата, ЭВМ, который в английском лишь коннотирует над исходным значением. Процесс новообразования и добавления новых значений и смыслов в уже существующие слова и термины происходит постоянно, и это не ситуация современности: язык скорее всего всегда «вел» себя подобным образом, создавая новые слова и переосмысливая уже существующие. Как говорил уже упомянутый Э. Кассирер в своей работе «Философия символических форм» в томе, посвященных генезису языка, «он [язык – Б.С.] делает из нужды многозначности звукового знака его настоящую добродетель» [3; С. 126]. Нестрогость, иногда даже противоречивость языка, сам язык превращает в достоинство, которое, как раз, и обеспечивает возможность дальнейшего движения-развития языка как медиальной среды.

Таким образом, язык состоит из слов, которые «по определению» обладали или обладают новыми значениями, а сам язык постоянно мутирует, в нем происходят процессы постоянного добавления новых смыслов и значений. В этом процессе постоянной мутации особую роль играет процесс коннотации. Что бы ни говорил о денотации Ролан Барт, мне представляется, что денотация – это довольно редкий (если не уникальный) случай в жизни языка. Напомним, что согласно Р.Барту коннотация – это некая «паразитирующая» на денотации (прямого означивания) структура. Мне представляется, что мы постоянно используем не денотацию, но именно коннотацию, ибо всегда добавляем (по причине того, что наша реальность – это символическая реальность) символические, в том числе, личностные отсылки и связки в любое наше высказывание. Любое высказанное слово в этом отношении ссылается на личностный опыт, субъективное переживание и т.п., т.е. всегда коннотативно.

Теперь посмотрим, что происходит в ситуации «сленгования» с языком и словом. Сленговое выражение, сленгового словечко не в меньшей степени использует коннотативную структуру, т.е. задействует связку (согласно Р. Барту) означаемое/означающее как еще одно означающее для уже другого означаемого. Конечно, существует и другой вариант сленга, когда слова «выдумываются», но и в этом смысле язык действует таким же образом, как и в обыденной речи, включая коннотативные горизонты в «идеальную», но никогда не осуществляемую денотативную структуру. Тогда же, когда слово приобретает добавочное значение в ситуации «сленгования» мы имеем либо коннотацию коннотации, либо еще одну коннотирующую ссылку, по сути своей ничем не отличающуюся от довольно распространенной в языке ситуации полисемии слов. Мы чаще всего интуитивно (ибо уже прошли все языковую дрессуру в раннем детстве, а потому уже можем себе «позволить» использовать язык в «бессознательном» режиме) выбираем, когда пытаемся понять сказанное, нужное значе-

ние слова из целого веера возможных смысловых ходов, т.е. «достраиваем» нужный контекстуальный горизонт сказанного. Иными словами, реализуем то, что в ситуации сленга было определено как (см. выше) секторальный узус того или иного слова.

То есть мы используем всегда слово и языковые выражения как сленг или – что то же самое – сленг является обыденным узусом языка, ничем существенно не отличающимся от других способов его функционирования. Мысль, которая выражается языком – через коннотативность и ситуационность высказанного – использует язык как свой сленг.

Теперь двинемся немного дальше. Язык указывает, но через свою неизбыточную коннотативность указывает на указание. Денотативной структуры, когда мы имели бы четкую и однозначную сцепку означаемое/означающее в реальности не существует, разве что в реальности лингвистического анализа или философской рефлексии о языке. Но, как известно, рефлексия изменяет то, о чем рефлексируют, и это значимо и для языка. То, что в рефлексии возможно «выхолостить» до денотата в реальности сказанного или помысленного содержит коннотативные слои и отсылки. В принципе денотативная структура возможна тогда, когда из реального высказывания будет удален субъект высказывания, что в принципе невозможно даже тогда, когда мы имеем безличностные конструкции типа моросит, темнеет и т.п., поскольку об этом «морощении», «темнении» все же заявляет тот, кто говорит, мыслит и наблюдает то, что «моросит» или темнеет.

Вместе с тем – как мы уже проговорили – язык оказывается в ситуации довольно затруднительного выражения личностного и глубинного. Иначе говоря, несмотря на то, что в любое высказывание «добавляется» коннотативность и субъективность говорящего, язык скользит по поверхности и к тому же по безличной по своей сути поверхности. К этому еще добавляются собственные правила и регламенты языка, которые соблюдаются в любом случае. Язык всегда будет действовать по своим правилам (грамматика, синтаксис, словообразование), которые и обеспечивают в конечном счете возможность коммуникативного акта с другим. Но эти собственные правила и регламенты являются тоже той поверхностью, по которым скользит язык, больше озабоченный тем, чтобы соблюсти свои нормы, чем выразить неуловимую и трудно фиксируемую подчас мысль. Т.е. даже стремясь выразить мысль как то, что находится «вне поверхности» языковой игры, когда он пытается прояснить реальную ситуацию, он, язык скользит по поверхности реальной ситуации, ибо говорит о самом себе, причем выражает это «безличным» и тотальным образом, даже если это явно выражает сам повествователь.

Даже о самих себе мы говорим не как о собственном, а о безлично тотальным. «Я» много, и в этом «Я» нет индивидуальной «маркировки». По-

зияция «Я» как реальной сингулярности как бы постоянно воссоздается «между строк», она «прячется» и «отыскивается» в этом безличном и тотальном местоимении «Я». Ибо то, что придает осмысленность – это реальная, а не «всеобщая» позиция, которая повсюду, а потому ее нет нигде. А для того, чтобы акт понимания, на который нацелен язык как коммуникативная среда, состоялся, нужна «сингулярность». Более того, то, что мы можем высказать как нечто всеобщее, универсальное, вневременное (ибо они не могут, как говорил И. Кант быть предметом возможного опыта) Точка – я, которой не существует, но язык постоянно нуждается в точке опоры, выстраиваемой реальным Я, тем индивидом, который говорит. Именно язык формирует это самое Я, причем, возможно, как внутренний аппарат подавления и подчинения этого Я социальным инстанциям. Без этого Я, без той точки, которая говорит и заявляет об увиденном, случившемся, т.е. без индивидуальной «точки зрения» невозможна сама дискурсивная практика, даже если она ведется в «интересах» тотальных социальных инстанций и структур. «Власть не только *действует* на субъект, но и в переходном смысле вводит субъект в *действие*. В качестве условия власть предшествует субъекту» [3; С. 25] - совершенно справедливо заявляет Джудит Батлер. Социальные инстанции - пускай через материнскую любовь и заботу – создают этого самого субъекта, которой потом – возможно – поставит эту саму власть под вопрос. Возможно – опять же – как один из «коварных планов» самой власти, самих социальных инстанций.

Даже безличные выражения типа «дойдет», «считается» и т.п., лишенные «вроде» как субъекта действия все же нуждаются, а потому указывают и создают «точку зрения» на безлично протекающий процесс. Социальные инстанции не способны создать эту «точку зрения», ибо «дать картину» из всех позиций невозможно. Да и «задача» у них несколько иная – выстроить нормативную и коммуникативную среду, т.е. задать параметры возможного выражения. А потому в отношении «конкретики» происходящего среднестатистическое лицо или универсальный всеобщий взгляд не способен ничего сказать существенного. Именно в этой конкретике повседневности нужна та точка, которая обеспечивает «точку зрения» происходящего. И это точка – Я, которая собирается, обучается, дрессируется, но все же сохраняется всегда в своей относительной автономности. Сама сборка субъекта, сборка Я осуществляется, прежде всего, на уровне языка. Зачем? Да все просто, можно даже не выстраивать психоаналитическую или какую иную стратегию: без точки Я нет языка, а без языка нет этого самого Я. Язык и Я формируются одновременно. Но поскольку формируются социальными инстанциями по их лекалам и канонам, то и получается... то, что получается: язык оказывается не столько средством для выражения личностного, но скорее – «точки зрения» на происходящее, которой можно поделиться с другими такими же

«точками зрения»); а Я формируется как механизм внутрь которого инфицированы социальные инстанции.

В этой «патовой» ситуации, когда личность – не личность, а язык лишь средство для фиксации этого безличностного статуса личности, под вопрос. Возможно потому, что изначально все так «безличностно», совершенно странное «ощущение», когда мы «облетаем» и «формулируем» мысль. Мысль «ощущается» как то, что находится вне мыслящего, как то, что приходится извне, мысль вне моего Я и мной не всегда может быть проконтролирована прежде всего в своем возникновении.

Мы все прекрасно знаем, как очень трудно настроиться на мысль и ее «родить». Она может придти – она приходит, т.е. как нечто чуждое и безличное – а может и не состояться. Не я ее рожаю мысль, но, скорее, отдаюсь на ее простор, встраиваясь в ее течение или пропитываясь ею. Но одновременно для того, чтобы я отдался на ее простор, чтобы она стала моей, необходимо это самое я, которое «нагло» присвоит ее, приватизирует ее. И это справедливый и необходимый жест для рождения мысли, ибо мысль собирается Я и, одновременно, собирает Я. Лишь пройдя через «форматирование» Я, через инфицирование «точкой зрения» она, мысль может потом через язык, всегда встраивающийся «точку зрения», проявить себя другим и миру. И в этом отношении не только философ (а ему это должно быть вменено в профессиональную обязанность), но и любой, кто пытается мыслить, не только должен отдаваться мысли, но и ее включать в регламенты контроля Я. Конечно, без оглядки, на сам генезис этого Я, который – как я вскользь постарался показать – довольно безличностен. Да и какая, в принципе, разница – безлично или лично творится истина и таинство мысли? Вовсе ведь не обязательно, чтобы в стихии мысли, которая – и в этом бесконечно прав Гегель – конкретна (в гегелевском же смысле), т.е. представляет собой «сплав» Единичного, Особенного и Всеобщего...

Все указанные «этапы» – необходимы для мысли, даже если мы «поместим» ее в то эйдетическое царство, в которое «изгнал» ее Платон. Только насытившись индивидуальностью «точки зрения», только включив в себя субъективный горизонт, мысль может стать мыслью, а не пребывать в хаосе неразличимого и только предчувствуемого. А потому необходимо трансцендентальное единство, т.е. сверхопытное единство, которое обеспечивает «точку сборки», которая по сути и есть «зрения». Именно при наличии трансцендентального единства, которое и есть «безлично-личностное» единство Я, возможна конденсация, сборка и оформление мысли, даже если мы предположим, что мысль скорее «некая» материя, стихия, которой мы способны отдаться или которую мы способны родить изнутри нашего «хаоса» безличного и внутреннего. Мысль постоянно нуждается в форме., а как раз эта форма может быть развернута только из точки зрения, которая является

точкой сборки этой мысли и – процесс, конечно, взаимный – самого Я, который отдается на ее простор и, одновременно, способен ее оформить и контролировать.

Образно говоря, мысли нужны не глаза, она и есть эти глаза, но ей нужен взгляд, ей нужна не столько оптика, но взгляд. И этот взгляд обеспечивается тем, что у Канта тематизировалось в тот концепт, которым – увы есть такое – «пугают», заставляя застыть в почтительности перед «величием и глубиной» философского жаргона, лекторы студентов, а именно трансцендентальное единство самосознания. А потому – еще раз – совершенно справедливо заявляет И.Кант: «Я мыслю» должно сопровождать каждый наш мыслительный акт. Здесь, понятно, центр «тяжести» лежит на Я, которое осуществляет акт мышления и каждый раз, когда происходит этот акт мышления, «настойчиво» в нем себя заявляет, фиксируя свое присутствие. Без этого Я, нет ни мысли, не высказывания этой мысли, даже если эта мысль говорит о том, что это самое Я в этой мысли вообще не присутствует. Я всегда «здесь и теперь», как позиция, как точка зрения, как точка сборки. Но, одновременно, как эта *определенная* точка сборки и как *определенная* позиция, это конкретное Я должно постоянно разрушаться. И дело не только в том, что конкретное Я всегда должно в акте коммуникации уступить место другому Я, другой точке сборки и точке зрения. Мысли, образно говоря, нужны тысячи глаз, ибо все же... все же... мысль не только рожают (но этим выбрасывают вовне этого Я), но и ей отдаются.

А потому сборка, которая происходит с помощью трансцендентального единства апперцепции, осуществляется лишь для того, чтобы разрушить эту сборку.

Она, сборка мысли и, попутно, Я, языка и стоящих за всем этим процессом социальными инстанциями, обрезает трансцендентальное единство. И именно поэтому мы с Игорем Юрьевичем (опять же это моя точка сборки, моя позиция, моя точка зрения) так немилосердно обрезали трансцендентальное единство апперцепции, превратив его в трансцендентальное единство ап, т.е. графически отразили процесс обрезки.

Но, одновременно, та мысль, которая - и этому была посвящена первая часть моего выступления – сленгует, заявляет себе и присваивается другими и, конечно, выходит за пределы сингулярности индивидуальности. а потому происходит то, что «прекрасно» передается через английский предлог «up»: возвышение и выхождение за пределы установленного, фиксируемого.

А потому в том проблемном поле, который прочерчен языком и мыслью, происходящее вполне корректно зафиксировать как «сленг мысли и трансцендентальное единство ап/up»

ЛИТЕРАТУРА

-
1. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
 2. Ларионов И.Ю. Перспективы феноменологической аналитики языка / *Studia Culturae*. №1. СПб, 2001. С.72-92.
 3. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1. Язык. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.

TRANSLIT

1. Batler J. Psihika vlasti: teorii sub#ekcii. Har'kov: HCGI; SPb.: Aletejja, 2002.
2. Larionov I.Ju. Perspektivy fenomenologicheskoj analitiki jazyka / *Studia Culturae*. №1. SPb, 2001. S.72-92.
3. Kassirer E. Filosofija simvolicheskikh form. T.1. Jazyk. M.; SPb.: Universitetskaja kniga, 2002.